

Ю. М. ЛОТМАН

## ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК И ПЕРЕВОДЧИК Я. А. ГАЛИНКОВСКИЙ

Имя Якова Андреевича Галинковского (1777—1815) принадлежит к числу прочно забытых, известных лишь весьма ограниченному кругу специалистов. Короткая заметка в «Русском биографическом словаре» и в первом томе «Малороссийского родословника» В. Л. Модзалевского исчерпывали до последнего времени биографическую литературу о Галинковском. Обзор его историко-литературных воззрений дан в подготовленной к печати книге П. Н. Беркова «Ранний период русской литературной историографии. XVIII век и первые десятилетия XIX века».<sup>1</sup>

Я. А. Галинковский заслуживает внимания исследователей не только как человек, чья биография может обогатить наши сведения о Державине, Жуковском, Андрее Тургеневе, Андрее Кайсарове и «Дружеском литературном обществе», но и как писатель и критик, в воззрениях которого нашли отражение весьма примечательные литературные процессы конца XVIII—начала XIX века.

Биографические сведения, которыми располагает исследователь творчества Галинковского, скудны. Наиболее подробными оказываются свод данных о прохождении службы, сообщаемый В. Л. Модзалевским, и хранящийся в ЦГИА в Ленинграде послужной список Я. А. Галинковского.<sup>2</sup> Сын полтав-

<sup>1</sup> П. Н. Берков предоставил мне возможность познакомиться с этой работой.

<sup>2</sup> ЦГИАЛ, ф. 1349, оп. 4, ед. хр. 7, Провиантский департамент Военного министерства, формулярный список Я. А. Галинковского. В. Л. Модзалевский, придерживаясь родословной традиции, пишет «Галенковский», однако правильнее следовать тому написанию, которого придерживался сам Галинковский и его современники.

ского помещика, он был зачислен в возрасте 13 лет в лейб-гвардии конный полк ефрейт-капралом. Однако фактически его служба началась позже — весной 1797 года, когда он, согласно формулярному списку, «поступил в кавалергарды». Военная служба его протекала в Москве. Но уже через полтора года, в октябре 1798 года, он подал прошение об отставке и перешел в штатскую службу. К этому же времени относится начало литературной деятельности Галинковского.<sup>3</sup> К наиболее ранним сочинениям следует отнести роман «Глафира, или прекрасная валдайка». Произведение это в полном виде до нас не дошло. В 1807 году Галинковский в изданном им сборнике «Утренник прекрасного пола» опубликовал отрывок «Сидония, или невинное вероломство. Повесть, взятая из нового русского романа». Публикация была снабжена примечанием: «Русский оригинальный роман „Глафира, или прекрасная валдайка“, сочинен мною еще в 1797 году. Но с того времени не имел я случая его напечатать. Он огромен и состоит в больших 5 частях, из коих каждая делится на 2 тома; писан во вкусе аглицких некоторых романов в письмах».<sup>4</sup> Замысел романа, вероятно, возник под влиянием «Бедной Лизы» Карамзина.

Первым произведением Галинковского, текст которого до нас дошел, является книга «Часы задумчивости, сочинение Иакова Галинковского». Произведение отмечено печатью двойного влияния — Стерна и Карамзина. Характерен и эпиграф из Стерна — обращение к «драгоценной чувствительности», и предупреждение «от сочинителя», сообщающее, что сия книга — лишь «течение рассеянных мыслей».<sup>5</sup> Книга, действительно, представляет собой не изложение последовательного хода объективных событий, а описание чувств героя (автор называет его

<sup>3</sup> Любопытные сведения по этому вопросу заключены в написанной Я. А. Галинковским в 1805 году для Евгения Болховитинова автобиографической заметке, которая хранится в рукописном собрании ГПБ (Собрание Погодина, № 2009; Евгений Болховитинов, Материалы к словарю писателей, т. II, л. 440).

Я. А. Галинковский сначала учился «латинскому и словенскому языку у многих академиком киевских». В 1785 году он поступил в Киево-Могилянскую академию, «где оказал великие успехи в латинском языке». Он «перевел всего „Телемака“ для упражнения и написал одну пастушескую повесть „Благодетельный Зефир, или любовь Леандра и Клеомены“ и поэму в стихах „Аполлон, или золотой век“, которые потом сжег в камине». Та же участь постигла написанные позже «любовную повесть» под именем «Земир, или заблудившийся охотник» и «другую, шуточную повесть „Старостянка Катерина, или польские были и небылицы во время Костюшки“».

<sup>4</sup> Утренник прекрасного пола, сочинение Я. А. Галинковского. СПб., 1807, стр. 101—105.

<sup>5</sup> Часы задумчивости, сочинение Иакова Галинковского, ч. I. М., 1799, стр. 4.

как «сей второй злополучный Вертер»). Героиню он именует Элизой «за то, что имя ее сделалось обожаемым чрез нежные письма друга чувствований моих — трогательного Стерна».<sup>6</sup> Вся стилистическая система повествования имитирует входившую тогда в моду стилистику Карамзина.

Павловская казарма не удовлетворяла Галинковского — человека с литературными интересами и хорошим для юноши его круга образованием (он в совершенстве владел английским, французским и немецким языками, следил за новыми литературными веяниями). Однако материальное положение, видимо, вынуждало к заработку. Это, по всей вероятности, и обусловило переход Галинковского в штатскую службу. В 1799 году он был определен в Московскую соляную канцелярию, а осенью 1800 года переведен в Московскую главную соляную контору. В августе 1801 года Галинковский перешел в канцелярию Д. П. Трошинского, что связано было с переездом в Петербург.<sup>7</sup> Сослуживцем Галинковского по Соляной конторе был В. А. Жуковский. В письме Мерзлякову от 22 августа 1800 года В. А. Жуковский так описывал атмосферу в «гнилой конторе»: «Вокруг меня раздаются голоса толстопузых, запачканных и разряженных крючкоподъячих; перья скрипят, дребежат в руках этих соляных анчоусов и оставляют чернильные следы на бумаге; вокруг меня хаос приказных; я только одна планета, которая, плавая над безобразною структурой мундирной сволочи, мыслит „au dessus du Vulgaire“».<sup>8</sup> Появление в сентябре того же года в Главной соляной конторе Галинковского, еще одного человека, мыслившего «au dessus du Vulgaire», конечно, не могло пройти для Жуковского незамеченным.

Видимо, через Жуковского и произошло знакомство Галинковского с членами «Дружеского литературного общества» Андреем Тургеневым, Андреем Кайсаровым и Мерзляковым. Скудость источников не позволяет в полной мере восстановить характер взаимоотношений Галинковского и ведущих членов «Дружеского литературного общества», однако упоминания в дневнике Андрея Тургенева говорят о дружеской близости. Вместе с Андреем Кайсаровым Тургенев бывал вечерами у Галинковского.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Там же, стр. 8 и 11.

<sup>7</sup> См.: Послужной список Я. А. Галинковского. ЦГИАЛ, ф. 1349, оп. 4, ед. хр. 7, л. 19 об—20 об.

<sup>8</sup> Цитируется по: В. Истрин. К биографии Жуковского. ЖМНП, 1911, № 4, отд. 2, стр. 220.

<sup>9</sup> См.: ИРЛИ, Рукописный отдел, Архив бр. Тургеневых, ф. 309, № 272, Дневник Андрея Тургенева за 1801 год, л. 16. (В дальнейшем

Связь с кружком Андрея Тургенева не оборвалась с переездом Галинковского в Петербург. Почти одновременно с ним поехал в столицу и Тургенев. Письма последнего свидетельствуют, что в Петербурге он пытался возродить «Дружеское литературное общество». К участию в проектируемом литературном объединении должен был быть привлечен и Галинковский. 21 декабря 1801 года Андрей Тургенев писал в Москву: «Сегодня, любезные друзья, провели мы трое: двое Кайсар<овых> и я прекрасный, пресчастливый вечер, которым единственно обязаны нашему бывшему „Собранию“. Видите, как оно благотворно! Мы были у Галинк<овского>. Еще был один Юзефович, прелюбезный; мы критиковали пиесу Гал<инковского>. Это напомнило нам о наших критиках; все так живо вспомнилось; мы разгорячились, как тогда, когда праздновали торжество наше в честь Отечества. Вспомните этот холодный еще, сумрачный апрельский день и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами, вспомните „Гимн“ Кайсарова, стихи Мерзлякова, вспомните себя и, если хотите, и речь мою».<sup>10</sup>

Видимо, с этой и подобными ей дружескими беседами связано было решение организовать литературное общество. В него, по всей вероятности, должны были войти (кроме Андрея Тургенева и Галинковского) проживавшие в Петербурге Петр и Михаил Кайсаровы и Дмитрий Михайлович Юзефович.

Состав участников «Собрания», которое замышлял Андрей Тургенев, отличался от московского — они были старше и опытнее (Юзефович был уже подполковником). Стремление не замыкаться в кругу чисто литературных вопросов, столь ярко проявившееся в позиции Андрея Тургенева, Мерзлякова и Андрея Кайсарова в московский период существования общества, вызвало, видимо, сочувствие у петербургских друзей. Андрей Тургенев писал Жуковскому и Мерзлякову: «Мы подумываем опять о „Собрании“, которое, вместе с тем <будет> и филантропическим».<sup>11</sup> Определение «филантропический» подчеркивало и существование определенных общественных интересов, и степень их неясности. Если Андрей Тургенев был настроен свободнолюбиво, сочувствовал тираноборческому идеалам, то сведения, которыми мы располагаем о Галинковском и других лицах, гово-

---

цитируется: Архив бр. Тургеневых). Некоторые из приводимых далее цитат, извлеченных из дневников и писем Андрея Тургенева, использовались в работах академика В. Истрина. Однако поскольку границы цитат, как правило, не совпадают, даем ссылки непосредственно на архив Тургеневых.

<sup>10</sup> Там же, № 4759.

<sup>11</sup> Там же.

рят лишь об очень умеренном либерализме. Интерес для исследователя представляют не политические воззрения Галинковского, видимо, очень незрелые, а его литературные взгляды, дающие ему право на известное место в истории русской критики.

Приведенные выше цитаты из письма Андрея Тургенева интересны во многих отношениях. Распавшееся к моменту его написания, но еще свежее в памяти участников «Дружеское литературное общество» (Андрей Тургенев, Мерзляков, Андрей Кайсаров) развернуло борьбу с карамзинизмом во имя создания поэзии народной, «важной» и политически заостренной. Показательно, что в связи со спорами в квартире Галинковского Андрей Тургенев вспомнил именно 7 апреля 1801 года — дату «экстраординарного собрания», посвященного Отечеству и носившего ярко политический, патриотический характер.<sup>12</sup> Сближение Галинковского с Андреем Тургеневым, занявшим к этому времени резко критическую позицию по отношению к творчеству Карамзина, не было случайным: аналогичные тенденции созревали во взглядах самого Галинковского.

Еще в 1799 году Галинковский начал работу над переводом английской антологии из произведений Стерна.<sup>13</sup> Однако издавая книгу в 1801 году, он счел необходимым снабдить ее предисловием, полемически направленным против карамзинистов. Здесь «сантиментальность», которая истолковывается как «тонкая, нежная и подлинная чувствительность»<sup>14</sup> («сантименталист» объясняется как «филантроп» — человеколюбивый), противоположается чувствительности мнимой, чуждой активного человеколюбия. «Желаю, чтоб и те, — писал Галинковский, — которые слишком пристрастились проповедовать свою чувствительность при всяком кусточке, при всяком ручейке в окружностях нашего города, поучились у Стерна чувствовать с большею подлинностью, глядя на сцену света не одними заплакан-

<sup>12</sup> См. в моей статье «Стихотворение Андрея Тургенева „К Отечеству“ и его речь в „Дружеском литературном обществе“» («Литературное наследство», т. 60, кн. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 338).

<sup>13</sup> См.: «Иппокрена», 1799, чч. V—VII. «Жизнь Стерна» и перевод эпитафии Гаррика Стерну, включенные позже в сборник «Красоты Стерна», были опубликованы в «Музе» — издании, отмеченном печатью радикализма. См.: «Муза», 1796, № 4, стр. 10—29. В № 5 был опубликован за подписью «Я...» отрывок перевода из «Тристрама Шенди», возможно, также Галинковского.

<sup>14</sup> Красоты Стерна, или собрание из лучших его патетических повестей и отличнейших замечаний на жизнь. Для чувствительных сердец. Перевод с английского, с портретом сочинителя. М., 1801, стр. II. (В дальнейшем цитируется: Красоты Стерна).

ными глазами, но изливая свои чувствования к пользе отчужденного суетами мира сего *ближнего нашего*.<sup>15</sup> Если в «Часах задумчивости» карамзинская и стернианская традиции сливались, то теперь они резко противопоставлены. Подчеркивание в творчестве Стерна активного человеколюбивого начала заставляет вспомнить интерпретацию его творчества если не Радищевым, то молодым Сергеем Глинкой, положившим в 1795 году в свою дорожную коляску «Сентиментальное путешествие» между «Путешествием из Петербурга в Москву» и «Вадимом Новгородским».

Отмеченное сходство воззрений Галинковского и Андрея Тургенева заставляет полагать, что именно последнего, а также Андрея Кайсарова и Мерзлякова имел в виду Галинковский, заключая предисловие словами: «Прежде напечатания сего перевода я совещаюсь со многими знающими, искренними моими приятелями, пользовался их замечаниями, их критикою».<sup>16</sup>

Стремление порвать с литературным дилетантизмом, которое привело, например, Андрея Кайсарова к углубленным историческим штудиям, изучению славистики и открыло перед ним двери на кафедру Тартуского (Дерптского) университета, заставило Галинковского обратиться к журнальному поприщу. Издававшийся им журнал «Корифей, или ключ литературы»<sup>17</sup> резко выделялся на фоне обычных периодических изданий и альманахов тех лет. По сути дела, это был разделенный на выпускский курс теории искусства (во многом обнаруживающий зависимость от различных источников) с обширными экскурсами в различные области истории и культуры. Специализированный характер журнала, никак не укладывавшегося в узкие рамки «легкой» литературы, вызвал нападки со стороны карамзинистов. П. И. Макаров в «Московском Меркурии» выступил с резкой статьей, в которой нападал не на конкретные теоретические положения Галинковского, а на самый тип издания.<sup>18</sup>

Показательна также оценка «Корифея» в журнале И. Рихтера «Russische Miszellen», который представлял собой своеобразную попытку аттестовать перед европейским читателем карамзи-

<sup>15</sup> Там же, стр. IV—V. Ср.: В. И. Маслов. Интерес к Стерну в русской литературе Историко-литературный сборник. Посвящается В. И. Срезневскому. Л., 1924, стр. 346—348.

<sup>16</sup> Красоты Стерна, стр. V—VI.

<sup>17</sup> Журнал «Корифей, или Ключ литературы» издавался в Петербурге в 1802 году. (В дальнейшем цитируется: «Корифей»).

<sup>18</sup> Характерно, что в защиту «Корифея» выступил ученый-профессионал В. Г. Анастасевич (см.: «Северный вестник», 1804, ч. V, стр. 163—178).

низм как единственное направление русской литературы. В этом журнале из номера в номер публиковались переводы из карамзинского «Пентеона русских авторов», «Вестника Европы», полный перевод «Марфы-посадницы», отрывки из «Путешествий» Шаликова и Измайлова. Кроме переводов основных материалов из «Вестника Европы», приводился полный перечень статей этого журнала. Помещая обзорные статьи, посвященные современному состоянию русской литературы,<sup>19</sup> Рихтер систематически изображал Карамзина главой и единственным крупным представителем русской литературы. Дав восторженную характеристику «Вестнику», Рихтер писал о других периодических изданиях: «На значительном расстоянии от этого солнца расположены другие планеты русской журналистики. „Меркурий“ (т. е. «Московский Меркурий», — Ю. Л.), естественно, — ближайшая. „Корифей“ кажется кометой, об аномалиях которой мы намерены еще говорить».<sup>20</sup> Данная здесь оценка «Корифея» переключается с рецензией «Московского Меркурия». Если вначале Рихтер поместил объективную по тону информационную заметку о выходе нового журнала, то дальнейшие сообщения имеют снисходительно-насмешливый характер. «Издатель («Корифей», — Ю. Л.), — сообщает он, — молодой человек по фамилии Голенковский, мало известный до сих пор в русских литературных кругах». Характеризуя издание как слепок с «Лицея» Лагарпа, он восклицает: «Но какое расстояние от образца до копии».<sup>21</sup>

Выпад Рихтера не остался без ответа. Галинковский напечатал в «Северном вестнике» И. И. Мартынова три статьи: письмо редактору — «Рецензия на книги у нас совсем замолкла...», рецензию на «Russische Miscellen» и обширный сравнительный разбор «Древней религии славян» Г. Глинки и книги А. Кайсарова «Versuch einer Slavischen Mythologie». Значение этого критического цикла в том, что Галинковский, не ограничившись полемическими ответами Макарову и Рихтеру, развернул широкую критику карамзинизма как направления. Выступая против «Russische Miscellen», он ясно понимал, что «этот журнал служил только истолкователем, провозвестником, или, лучше сказать собственными его словами, созерцателем

<sup>19</sup> См.: «Neueste und merkwürdigste Erscheinungen der russischen Litteratur» (Russische Miscellen, herausgegeben von J. Richter), Leipzig, 1803, № 1, стр. 131—140; Notizen über die neueste russische Litteratur. Там же, № 4, стр. 126—161, и др.

<sup>20</sup> «Notizen über die neueste russische Litteratur». Там же, стр. 146.

<sup>21</sup> Там же, стр. 151—152. Написанные фамилии Галинковского в данном случае сохраняем в транскрипции Рихтера.

всех тех лучезарных планет (московских), блуждающих около пресветлого солнца, т. е. тех мелкоотравчатых писателей, которыми немногие занимаются и в России, не только в Германии».<sup>22</sup>

Протестуя против утверждения, «что вся наша русская словесность заключается на Никольской улице в Москве»,<sup>23</sup> Галинковский в следующей статье вновь вернулся к сравнению Рихтера, подчеркивая, что «надобно наиболее стараться избегать партий и наблюдать равно за всеми писателями, а не за одними только планетами и кометами, являющимися около какого-то солнца».<sup>24</sup> Аналогичный упрек адресуется и Макарову.

Резкому осуждению подвергается карамзинская установка на «безделки», «легкие» жанры — ей противопоставляется требование «высокого» содержания, «важных» жанров. Рихтеру ставится в вину, что он исказил перед европейским читателем лицо русской литературы, «переводя одни безделки наших Вестомостей и Вестников (намек на «Вестник Европы», — Ю. Л.), какие-нибудь грезы в дорожной коляске».<sup>25</sup>

Другой важный вопрос, поднятый Галинковским, касался значения критики. В центре разбираемых статей Галинковского стоит требование боевой, принципиальной полемики. Он недоволен тем, что критики, «оградившись чрезвычайною скромностью, говорят только так, чтоб угодить обеим сторонам, то есть либо *вполнехотя* хвалят, либо *вполнехотя* критикуют (курсив Галинковского, — Ю. Л.)».<sup>26</sup> И далее: «Будем справедливы против хороших книг, которые остаются у нас в забвении, на которые непременно надобно указать читателям и которыми мы можем похвалиться; будем опять неумолимы, сердиты даже, на сочинения плохие и бесполезные и отнимем их у читателей».<sup>27</sup>

Галинковский выдвигает не только требование критического рассмотрения появляющихся новых произведений, но и пересмотра устоявшихся литературных авторитетов и в первую очередь авторитетов Карамзина и Дмитриева. «Бездна книг у нас не рассмотренных, оставленных на произвол читателей. Скажите,

<sup>22</sup> «Северный вестник», СПб., 1805, ч. VI, стр. 290.

<sup>23</sup> Там же, стр. 289—290. На Никольской улице проживал Н. М. Карамзин.

<sup>24</sup> Там же, стр. 301.

<sup>25</sup> Там же, стр. 289.

<sup>26</sup> Там же, стр. 285. Это высказывание издатель журнала И. И. Мартынов снабдил любопытным примечанием: «Вот это правда; но что вы прикажете сделать с таким сочинителем, который присылает свои книги с заповедью, чтоб их похвалить в журнале? Молчать, вы скажете? Это и делает журналист. Но когда не отвязывается? Немножко похвалить, а прочее выставить наружу» (там же).

<sup>27</sup> Там же, стр. 289.



напр<имер>, кто рассматривал у нас критически „Письма русского путешественника“, „Аглаю“, „Наталью“ и пр., между тем как их критикуют от Шотландии до Парижа? Между тем как в чужих землях дают цену нашим книгам, мы молчим *законопреступно* (курсив Галинковского, — Ю. Л.). Кто разбирал „Путешествие в полуденную Россию“, „Стихи и переводы И. Дмитриева“?». <sup>28</sup>

Хотя основной удар Галинковского был направлен против карамзинистов как наиболее влиятельного лагеря современной ему литературы, однако в статье отрицательно оценивается и творчество ряда сторонников Шишкова — Хвостова, Голенищева-Кутузова и др. Галинковского не удовлетворяет состояние литературы в целом. Это особенно ярко проявилось в той пародийной переделке сатиры Капниста, которой заключалась статья. Автор перечисляет писателей, забывших «вкус и стыд».

«Иной (Карамзин, — Ю. Л.) ученым быть решился непременно:  
От сказок к хроникам переходит дерзновенно  
И думает, что так легко их сочинять,  
Как травки и цветы слезами омывает.  
Ну, что ж! Пускай сей вздор безграмотных пленяет,  
Читатель ничего иль мало в том теряет;  
Но для чего Дамон (Дмитриев, — Ю. Л.), писатель наших миф,  
Две басенки иль три на русский преложив,  
Уж думает, что он совмесник Лафонтена?  
Зачем опять другой, усердный раб Славена (Шишкова, — Ю. Л.),  
Свой мелкомысленный славено-русский бред  
За образец ума и вкуса выдает?  
Тот (Лабзин, — Ю. Л.) новой мудрости свой разум посвятил:  
Он таинства на дне колодезя открыл.<sup>29</sup>  
Хоть сам во тьме, свой ум ко свету простирает,  
На путь ведя иной, со старого сбивает,  
Другой, меж шкапом книг зарывшись, день и ночь  
Всех авторов щечит, на курс напрягши мочь;  
Однако ж не блеснул, а только запыхался,  
Хотел было учить, да сам не научился.<sup>30</sup>  
А третий (Г. Глинка, — Ю. Л.), чтоб скорей в ученый ряд попасть  
Иль быть профессором — всех хуже стал писать.  
Но можно ли каким спасительным законом

<sup>28</sup> Там же, стр. 292.

<sup>29</sup> Там же, стр. 296. Имеется в виду книга «Ключ тайств природы». Об этой книге Галинковский иронически писал: «Как не уведомить читателя... о переводе „Книги тайств природы“ весьма гладком и о философии сей книги, темной и таинственной».

<sup>30</sup> В этом отрывке Галинковский имеет в виду самого себя как издателя «Корифея». Введенные, видимо, с целью маскировки авторства, эти строки достигли своей цели. Так, И. И. Дмитриев, будучи уже уведомлен, что автором статьи является Галинковский, полагал, что стихи написаны кем-то другим. Галинковский обычно выступал в журналистике анонимно, под условной маской сельского жителя, и с большим неудовольствием от-

Принудить Клузия (П. И. Голенищев-Кутузов, — Ю. Л.) жить  
в мире с Аполлоном,<sup>31</sup>

Не ставить на подряд во все журналы од  
И древних уж не сметь перелагать вперед.  
Возможно ль запретить, чтоб Лакриманс (Шаликов, — Ю. Л.),  
унылый,

Своею нежностью всем дамам опостылый,  
Напутав кое-как и прозы и стихов,  
Не отдал их в печать и не был бы готов  
Оплакать всякий куст, все тропки, все гробницы?  
Чтоб пропустил Салтон (Салтыков, — Ю. Л.) день ангела сестрицы.  
Чтоб журналистов рой друг друга не хвалил,  
И древний наш Услад (Херасков, — Ю. Л.) дев Пинда не дразнил?  
Нельзя, зато и нам нельзя же не сердиться,  
Вы пишете вздор; так как же не браниться?

Галинковский отрицательно относился, таким образом, и к Карамзину, Дмитриеву, Шаликову, и к Шишкову, Голенищеву-Кутузову, Салтыкову, Хераскову. Не случайно в письме редактору «Северного вестника» заключалась пессимистическая оценка всей современной русской литературы: «Теперь у нас везде говорят, что словесность возвысилась, распространилась. Не так много, как кажется».<sup>32</sup> Эта мысль, сближающая его с Андреем Тургеневым, была у Галинковского устойчивой.

Начиная издание «Корифея», он хотел бы «спросить у сынов России: от чего такой глубокий сон одолевает словесность нашу? От чего царствует сие постыдное молчание пера?».<sup>33</sup>

Одним из средств борьбы с этим молчанием Галинковский считал критику, долженствующую разоблачать ложные авторитеты и указать подлинные пути литературе. Такая критика мыслится им как научная, теоретически обоснованная и противопоставлялась критике, исходящей из карамзинского критерия — вкуса «прекрасных читательниц».

Именно это противопоставление научности дилетантизму лежит в основе рецензии Галинковского на книги Г. Глинки и А. С. Кайсарова. Книга Г. Глинки «основана на воздухе, потому что она родилась как дочь Юпитерова... из воображения сочинителя». Книга Кайсарова «составлена из исторических справок, выбрана из лучших книг и поддержана свидетельством

мечал, что Рихтер «огорчил некоторых писателей, назвав их поименно (намек на упоминание имени редактора «Корифея» — Ю. Л.), в то время когда они сами не называли себя пред публикою и остаются анонимы» («Северный вестник», 1805, ч. 6, стр. 302).

<sup>31</sup> Переводы П. И. Голенищева-Кутузова из Пиндара были резко осуждены Галинковским. Он иронически писал «о переводе Пиндара (неизвестно с какого языка), который выдают за классический».

<sup>32</sup> «Северный вестник», 1805, ч. VI, стр. 283.

<sup>33</sup> «Корифей», кн. I, стр. 15.

важных писателей. Первая писана как роман, вторая — как систематическая книга... Первая имеет слог стихотворный, неправдоподобный — и читатель ничему не верит. Вторая имеет всю историческую важность — на нее можно везде полагаться».<sup>34</sup> Далее Галинковский отмечает, что Г. Глинка писал «для дам», а А. Кайсаров — «для людей ученых».

Попыткой такой «ученой» критики, систематического изложения вопросов теории искусства, явился журнал «Корифей». В силу молодости автора и его дарования, а также незрелого характера того литературного движения, выразителем которого он являлся, теоретические воззрения Галинковского не могли быть ни свободными от противоречий, ни полностью оригинальными. Однако они все же представляют определенный интерес, дополняя наши знания об этом, еще мало изученном периоде русской критики.

Переход Галинковского с позиций поклонника Карамзина к полемике против «московского солнца» не означал того, что он стал «усердным рабом Славена», сторонником Шишкова. Воззрения издателя «Корифея» обладали чертами, отделяющими их от принципов будущего руководителя «Беседы» не менее решительно, чем от принципов карамзинистов. Галинковский, видимо, хорошо усвоивший уроки просветительской философии XVIII века, прошедший скептическую школу Стерна, был лишен того преклонения перед традицией, которое было свойственно Шишкову. Бросается в глаза резко отрицательное отношение Галинковского к церковной литературе. Разделяя требования критического подхода к историческим источникам, Галинковский гораздо ближе к Шлецеру, имя которого он упоминает с уважением, чем к дилетантски некритическому методу Шишкова. Очень показательны оценки средневековых церковных исторических источников, которые находим в «Корифее»: «Деписатели сии, — пишет он, — во многом порицания достойны: они удалились от смысла древних летописцев и заменили его ложными и смешными преданиями... Ничего нет скучнее, как их витиеватый, надутый слог: ищешь истории и находишь молитвословия; ищешь справок нужных, правдивых происшествий и находишь каплю в море многоглаголения. Везде градом сыплются чудеса от ангелов, от крестов; везде одни церкви, перенесения мощей, обретения их».<sup>35</sup> Средние века характеризуются так: «Неумеренная набожность, ханжество есть всеобщий владеющий дух сего времени». И далее: «История

<sup>34</sup> «Северный вестник», 1805, ч. VII, стр. 160—161.

<sup>35</sup> «Корифей», кн. I, стр. 92—93.

перешла в некоторые скудные летописцы, начертанные пером пристрастных монахов; они судили о людях соразмерно добру и злу, которое они от них получали. Если великий человек отнял от несчетных их сокровищ малую часть для награждения храбрости своих воинов, то они описывают его как злодея, которого св. отцы отослали в геенну. Когда монастырь, неприятный тому, в котором живет историк, заражен повальной болезнью, то говорят, что ангел-истребитель сходил с неба и что многие видели, как в одну ночь поражал он тысячи их нечестивых! Напротив того, ежели государь какой расточал на алтари области своего царства, то какие бы он ни сделал преступления, каким бы развратом ни был причастен, его представляют образом добродетели, которого память достойна апофеоза».<sup>36</sup>

Показателен словарь литературных терминов, который включил Галинковский во вторую книгу «Корифея». Отрицательно отнесясь к салонности, камерности литературы, культу «безделок», Галинковский сохраняет и развивает представление о поэте как гении, не знающем правил, руководствуемом лишь вдохновением. Сохраняется даже типично карамзинский термин «жені», который поясняется как «лично-особенное дарование, дух великий, недостигаемый, творец оригинальный, ум, составленный из превосходнейших стихий совершенства смертного. Человек особенный, у которого свой образ видеть, чувствовать, мыслить и писать, человек небывалый». Тут же французский термин «poète» переводится как «поэт, стихотворец — первый человек в свете».<sup>37</sup> Однако нельзя не видеть, что карамзинские представления подверглись значительной трансформации в духе того понимания природы гения, которое было в ходу в немецкой литературе шиллеровской эпохи и разделялось такими современниками Галинковского, как Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров, молодой Гнедич и др. Основной чертой гения считается оригинальность, самобытность. Как мы увидим дальше, это понятие соединялось с требованием активности, поэзии героического, а не камерного звучания.

Оборотной стороной переосмысления старых литературных принципов являлось широкое воздействие на Галинковского той идеологической традиции, которая связана была с недворянским лагерем в литературе XVIII века. Большой интерес в этом отношении представляют его оценки русских писателей XVIII века. Критическое отношение к Хераскову и Карамзину мы уже отмечали. Не менее резко высказывается Галинковский,

<sup>36</sup> Там же, кн. II, стр. 147 и 151—152.

<sup>37</sup> Там же, стр. 15 и 19.

снова соглашаясь с Андреем Тургеневым, по адресу Сумарокова и Княжнина: Сумароков «был, можно сказать, основателем нашего театра, но он не Расин северный, как прежде думали. Публика часто видит его „Дмитрия Самозванца“. Почитают эту трагедию за лучшую; но для меня она слишком скудна, не только пред вымыслом поэта, но даже пред самым действием истории».<sup>38</sup> Сумароков «мало мог устоять противу времени и вкуса». Не менее суров отзыв о Княжнине, который, по мнению Галинковского, «не имел никакого изобретательного духа и в котурне своем всегда ходил на помочах».<sup>39</sup> Зато весьма сочувственны оценки В. Майкова, Ф. Эмина, Н. Новикова, «только долго споспешествовавшего славе литературы российской».<sup>40</sup> Преувеличенно положительная оценка деятельности Ф. Эмина как историка, видимо, основана на критическом отношении последнего к источникам церковного происхождения, что позволяло Галинковскому увидеть в нем предшественника «критической» историографии. Об Эмине читаем: «Муж сей был весьма словесен; знал многие европейские и азийские языки; просвещен чтением наилучших древних и новых авторов и от природы имел критический дух, толь свойственный истории. Сие дарование, может быть, наиболее очистило ее (т. е. историю, — Ю. Л.) от предрассудков и показало светильник философии, от коего дотоле отвращало глаза суеверное невежество!». Галинковский жалеет, что Эмин не «жил в счастливейшем периоде нашей письменности».<sup>41</sup>

Весьма сочувственны отзывы о Тредиаковском. Возникшая в XVIII веке официально освященная традиция издевательства над творчеством Тредиаковского<sup>42</sup> была подхвачена в XIX веке карамзинистами, вошла в арзамасский ритуал; иронически отзывался о Тредиаковском-поэте и А. С. Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге». Но рядом с этой, общей для дворянской литературы оценкой существовала и другая, шедшая от «Смеси» и Радищева. В начале XIX века поэтическое новаторство Тредиаковского привлекало внимание разрабатывавших русский гекзаметр Востокова, Мерзлякова, Гнедича, а также Анастасевича.

<sup>38</sup> Там же, стр. 49.

<sup>39</sup> Там же, стр. 51.

<sup>40</sup> Там же, стр. 51. Положительные оценки деятельности Новикова см.: там же, кн. I, стр. 110 и 135.

<sup>41</sup> Там же, кн. I, стр. 106.

<sup>42</sup> См.: А. С. Орлов. «Тилемахида» В. К. Тредиаковского. Сб. «XVIII век», Изд. АН СССР, М.—Л., 1935, стр. 23—25.

Высказывания Галинковского о Тредиаковском связаны с актуальной в ту пору проблемой реформы ломоносовской системы стиха. Необходимо отметить, что, хотя тяготение к белому стиху, к отходу от ломоносовских ямбических размеров и стилистических средств может быть отмечено и у Карамзина, и у Радищева, смысл экспериментов того и другого был диаметрально противоположен.

Карамзинское представление о поэте как «искусном лжеце», а о поэзии — как мастерстве «вымышлять приятно», средстве «позабиться в чародействе красных вымыслов», снимало вопрос об отражении в искусстве объективной истины, отменяло правдивость как критерий художественности. Вместо нее выдвигалось требование изящества.

Принципиально иным было отношение Радищева. Считая, что пером писателя «руководствует» истина, Радищев видел главное поэтическое достоинство в содержательности поэзии. Этому призван был служить выдвинутый им критерий прозаического пересказа. Проповедь белого стиха, отрицательное отношение к рифме были частью попытки сблизить поэзию с жизненной правдой, выработать гибкие ритмические средства, позволяющие охватить в поэтическом произведении самый широкий круг явлений действительности. Идеи Радищева известны были современникам.

Трудно судить о степени знакомства Галинковского с произведениями Радищева, однако еще труднее отказаться от этой мысли, встречая в труде молодого и еще малосамостоятельного автора такую сравнительную характеристику Тредиаковского и Ломоносова: «Почтенный наш Тредиаковский перевел ее (историю Роллена, — Ю. Л.) два раза своим трудолюбием; но потомство худо заплатило ему за такое неусыпное, образцовое прилежание. Одна „Тилемахида“ заглушила все его достоинства: мы забыли, что он сам был ученик Роллена, первый профессор нашего красноречия, первый знаток древних авторов, человек необыкновенного, глубокого знания в науках, человек, который едва ли являлся с тех пор с таким обширным учением, — забыли мы, что он один написал более полезных книг, нежели десять современников, и обесславили память его за одну смелую идею ввести в российский язык *стопосложение греческое*. В то самое время вводил Ломоносов *германские стопы* и рифмы, которые нисколько не превосходнее сами по себе и имели только предстателем великое лично-особенное дарование. Ему надобно было идти против воды: он упал под бременем сего великого предприятия; силы языка были еще слабы, необразованны в толь ранние годы нашей словесности. Соперник его был

сильнее, восторжествовал, и мы — забыли память его! Свидетельствуюсь его бессмертным духом, его творениями, что это не благородно. Время отмстит некогда сию обиду, и родятся некогда счастливейшие дарования, которые отважатся по проложенной им дороге возвыситься до красот сказания (*дикуии*) Гомера, ввести величественное течение героического древнего стиха, так свойственного природному нашему стихотворству».<sup>43</sup>

Мысль о том, что «течение героического древнего стиха» лучше всего соответствует искомому идеалу русской ритмики, была для Галинковского принципиальной. Стремление противопоставить салонной лирике эпопею, которую он считал «высшим родом стихотворства»,<sup>44</sup> не означало возвращения к классицизму. Речь шла о выработке национально-самобытных, соответствующих народному духу поэтических форм. Правда, идея обращения к русскому фольклору была чужда Галинковскому (в одном месте он даже резко высказался против «общенародного» слога).<sup>45</sup> Зато ему оказалась близкой идущая от Винкельмана и Фосса<sup>46</sup> идея создания национальной культуры на античной основе. Предвосхищая Мерзлякова и Гнедича, Галинковский в статье «Мнение о характере русских» (опубликована в «Корифее») сближает русский национальный характер с античным. Последний же воспринимается как воплощение прекрасных возможностей, заложенных в природе человеческой личности. Именно в близости русского народа к неискаженному прекрасному облику человека, в том, что «он не столько удален от природы, не столько сокрыты в нем его первоначальные величественные черты, как у прочих»,<sup>47</sup> Галинковский видит залог возможности сближения русской и античной культур.

Галинковский в современном ему дворянском обществе не усматривает черт античного героизма. Но, по его мнению, не следует судить о народе по кучке развращенных дворян: «Тысячи бесхарактерных, испорченных россиан не составляют... целого народа: и когда мы знаем, что, может быть, два миллиона только преобразовались в иноплеменных, не своих, то можем ли сумлеваться, чтоб *двадцать* не было настоящих русских, сохранивших ненарушимо свой коренной характер, свои природные добрые свойства, свои любезные пристрастия к отечеству».<sup>48</sup>

<sup>43</sup> «Корифей», кн. I, стр. 68—69.

<sup>44</sup> Там же, кн. II, стр. 13.

<sup>45</sup> Там же, кн. I, стр. 51.

<sup>46</sup> Галинковский был знаком с переводами Фосса, которого называл «неподражаемым». См.: там же, кн. II, стр. 171.

<sup>47</sup> Там же, кн. I, стр. 165.

<sup>48</sup> Там же, стр. 160.

Именно «двадцать миллионов» народа имеет в виду Галинковский, когда говорит: «Русский воспитан в спартанской колыбели: и он видел у себя *отчичей* (патриотов), видел людей, которых великая душа не уступала в твердости чадам Ликурговым!». <sup>49</sup> Русский народ, по мнению Галинковского, похож на древних в первую очередь своей жаждой подвигов. Говоря о народных забавах, он замечает: «Нигде мы не похожи столько на греков и римлян, как в сих занятиях. Наши позорища, наши игры во всем с ними сообразны. Греки и римляне были страстные охотники до кулачного бою, до борьбы, до ристалищ, до травли. Все сии зрелища прошли мимо глаз наших: потому, что они всегда были забавою одних неизнеженных бранноносных народов». <sup>50</sup>

Обоснованный таким образом интерес к античности имел две стороны. С одной — он был связан со стремлением к народности, гражданственности, эпическим жанрам и «высокому» содержанию и в этом смысле был бесспорно прогрессивен. Однако, с другой стороны, он обнаруживал ограниченность мировоззрения, неспособность увидеть героическое, поэтическое начало в реальном облике народа, стремление героизировать реального русского крестьянина, представив его в облике античного патриота. Время, предшествующее Отечественной войне 1812 года и последовавшее за ней, связано с интересом к проблеме эпического творчества и спорами вокруг русского гекзаметра. Зная, как определилась позиция Галинковского еще в 1802 году, мы не удивляемся, застав его позже, в 1813 году, в период оживления полемики по вопросам о русском гекзаметре, в рядах защитников греческого «стопосложения». Еще в 1804 году Галинковский, предвосхитив первые опыты и Востокова, и Мерзлякова (Гнедич обратился к гекзаметру позже), перевел гекзаметром первую эклогу Вергилия, снабдив перевод обширным теоретическим обоснованием. Однако «одна почтенная особа» (по-видимому, А. С. Шишков), которой доверил переводчик свой труд, не одобряя мысли переводчика, задержала печатание до 1813 года, о чем Галинковский с упреком сообщил в особом примечании. Теоретическое вступление переводчика примечательно. Оно намечает своеобразную периодизацию русского стиха. Первый период относится к господству силлабического стиха: «В начале XVIII века писатели наши слагали стихи по образцу польских. Но сей вкус кончился с Кан-

<sup>49</sup> Там же, стр. 166.

<sup>50</sup> Там же, стр. 167.



темиром».<sup>51</sup> Второй период относится ко времени, когда «творческий дух Ломоносова образовал новый род стихосложения. Он привез из Германии *ямбы* и *хореи* и поддержал стопосложение свое высокими лирическими песнями».<sup>52</sup> Третий период — современный, сторонником которого объявляет себя и Галинковский, имел родоначальником Тредиаковского, полагавшего, «что в русском стихосложении не должно подражать новым европейским народам, которые со времени трубадуров отступили от древнего, что стихотворство такого обильного языка, как наш, не могло ограничиваться одними только *ямбами* и *хореями* или носить иго рифмы и что язык *славянский*, вмещающий в себе все красоты греческого и латинского, имеет право удерживать за собою величество, важность и сладкозвучие древнего их размера». Автор считает, что «мысль г-на Тредьяковского о введении у нас древнего размера (курсив автора, — Ю. Л.) не перестала быть великою, прекрасною и достойною внимания наших стихотворцев».<sup>53</sup> Обращение к античности означало, как мы уже видели, для Галинковского возврат от подражательности к самобытности. Эта мысль подкрепляется авторитетами Клопштока, Фосса, Шекспира и Мильтона. Ссылки на переводы Фосса и высокую их оценку находим также в составленной Галинковским для Г. Р. Державина «Записке о лучших изданиях Пиндара и Горация».<sup>54</sup>

В том же 1813 году в следующем XI номере «Чтения в Беседе» Галинковский напечатал «Рассмотрение Овидия», содержащее резкое осуждение мелочных жанров, изящной салонной поэзии. Позиция, с которой велась эта критика, решительно не совпадала с основным направлением шишковистов, хотя именно в их журнале печатались статьи Галинковского. Об этом свидетельствует хотя бы то, что в «Рассмотрении Овидия» встречаем защиту «романизма», «Новой Элоизы» Руссо, посланий Абеяра к Элоизе и Шарлоты к Вертеру. Галинковский сочувственно цитирует страстный призыв Сен-Прё к самоубийству («O, тоуголс та douce amie») — отрывок, неприемлемый для шишковистов ни по религиозным, ни по литературным соображениям.

Однако не только эпическая поэзия мыслилась Галинковским как средство отвлечь литературу от «малых жанров» ка-

<sup>51</sup> Я. Г а л и н к о в с к и й. Письмо к издателям академического журнала «Сочинения и переводы», писанное 26 декабря 1804 года. «Чтение в беседе любителей русского слова», чтение X, СПб., 1813, стр. 119.

<sup>52</sup> Там же, стр. 119—120.

<sup>53</sup> Там же, стр. 120—121.

<sup>54</sup> См.: ГПБ, Рукописный отдел, Архив Г. Р. Державина, ф. 247, тетр. 5, лл. 224—224 об.

рамзинистов. Его внимание привлекала также гражданственная патетическая ода. Понимание Галинковским законов этого жанра резко отличалось от норм классицизма. Отвергая рассудочность художественного творчества, он считал основой оды восторг, вдохновение, приближаясь в этом отношении к позднейшим высказываниям Кюхельбекера. Ода сближается им с импровизацией. Задачи оды — вдохновлять слушателей к высоким подвигам.

В сочинении «О поэзии лирической», составленном для Державина, Галинковский развивает мысль об оде как создании древних поэтов-импровизаторов. Он называет псалмы Давида, песни бардов и Бояна как образцы истинных од. «Барды предшествовали с лирой своим богатырям»,<sup>55</sup> — говорит он. Весьма показательны, что наряду с холодными отзывами о французских одописцах эпохи классицизма, даже таких прославленных, как Жан-Батист Руссо, читаем следующий сочувственный отзыв: «Не должно забыть здесь славного Лебрена, который в революции гремел одами и почитается Пиндаром Французским».<sup>56</sup>

Представляют интерес воззрения Галинковского на театр и драматургию.

Для понимания взглядов Галинковского следует наряду с учетом того, что ведущее литературное направление той эпохи — карамзинизм — прошло мимо театра, не забывая широкого воздействия на русскую сцену этих лет западно-европейской «мещанской драмы» и бунтарских пьес молодого Шиллера.

В «Разбойниках» и других драмах Шиллера бросались в глаза бесспорный демократизм, вера в высокое предназначение человека, ненависть к тиранам.<sup>57</sup> Однако пафос борьбы за освобождение человека сочетался у драматурга с отрицательной оценкой материализма. Проповедник «бескорыстного» подвига, героического стоицизма, Шиллер рассматривал материализм как учение аристократическое, оправдывающее эгоизм, презрение к народу и добродетели. Материализм приравнивался Шиллером к скептицизму и объявлялся порождением дряхлого феодального общества.

В силу своей внутренней противоречивости русская демократическая мысль первых лет XIX века оказывалась очень

<sup>55</sup> Там же, л. 188.

<sup>56</sup> Там же, л. 198 об. Об Экушаре Лебрене и его русских читателях см.: Б. В. Томашевский. 1) Пушкин и французская революционная ода. «Известия АН СССР», Отделение литературы и языка, 1940, № 2, стр. 25—55; 2) Пушкин. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 158—159.

<sup>57</sup> Характерно, что в биографии Шиллера А. Х. Востоков выделял «гоненье тиранов» (А. Х. Востоков. Стихотворения. Изд. «Советский писатель», Л., 1935, стр. 191).

восприимчивой именно к этому «шиллеровскому» комплексу идей.

Стремление переключить проблематику произведения из социального плана в моральный и в связи с этим преувеличенное внимание к гипертрофированным страстям известным образом ограничивало шиллеровский демократизм, который по глубине и силе значительно уступал демократизму Радищева и французской предреволюционной и революционной публицистики. Однако именно эти слабые стороны обеспечивали влияние произведений Шиллера на сравнительно широкого читателя тех лет. Аудитория, которую отпугнула бы радищевская революционность, материализм Гельвеция, находила в произведениях Шиллера, «благородного адвоката человечества», по характеристике В. Г. Белинского, антифеодалный пафос освобождения «общества от кровавых предрассудков предания», свободолобивый жар, закаленный «в огне древней гражданственности».<sup>58</sup>

В сложной картине общественно-литературной борьбы первого пятилетия XIX века в интересе к бунтарским драмам Шиллера соединились две группы читателей. В одной из них были наследники демократической традиции литературы XVIII века, которых привлекала антифеодалная направленность этих произведений: Востоков,<sup>59</sup> Мерзляков,<sup>60</sup> Гнедич,<sup>61</sup> Н. Н. Сандунов, Нарезный.<sup>62</sup>

Для другой группы писателей, чей творческий путь в своих истоках был связан с именем Карамзина, влияние Шиллера оказалось средством преодоления салонности и камерности, выходом к социальной тематике. Именно в творчестве Шиллера писатели этого типа находили ту художественную систему,

<sup>58</sup> В. Г. Белинский. Письма В. П. Боткину от 4 октября 1840 года и Бакуниным от 8 марта 1843 года. Полн. собр. соч., т. XI, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 556; т. XII, стр. 145.

<sup>59</sup> См. его стихотворение «При известии о смерти Шиллера» в кн.: А. Х. Востоков. Стихотворения, стр. 191.

<sup>60</sup> О влиянии Шиллера на Мерзлякова см. в нашей вступительной статье в кн.: А. Ф. Мерзляков. Стихотворения. Изд. «Советский писатель», Л., 1958, стр. 21—24.

<sup>61</sup> Очень характерны колебания Гнедича в формулировке заглавия написанной им под сильным влиянием «Разбойников» Шиллера пьесы «Вольф, или преступник от презрения». Гнедич сначала снабдил пьесу подзаголовком «трагедия», затем приписал впереди «мещанская», после чего, зачеркнув все, написал: «Российское сочинение по расположению г. Шиллера», и, наконец, остановился на определении «драматическая картина» (см.: ГПБ, Рукописный отдел, Q, XIV, № 119).

<sup>62</sup> Анонимный рецензент его пьесы «Дмитрий Самозванец» отмечал: «Читал две шиллеровы трагедии почти в этом же роде и скажу, что они не моего вкуса» («Северный вестник», 1804, ч. IV, стр. 140).

которая бы позволяла, не порывая еще до конца с субъективно-лирическим подходом к изображаемому, с принципиальным равенством автора и центрального героя, вместе с тем поставить вопрос о взаимоотношении этого героя с общественной действительностью. Возникла промежуточная художественная система — результат воздействия демократических идей на дворянскую эстетику. Именно такой смысл имел интерес к Шиллеру со стороны Андрея Тургенева, Андрея Кайсарова, Бенитцкого, Галинковского.<sup>63</sup>

Поклонение Шиллеру, характерное для Андрея Тургенева и его друзей в 1799—1801 годах, видимо, затронуло и Галинковского, целый ряд высказываний которого по смыслу, а иногда текстуально совпадает с оценками Андрея Тургенева. В дневнике последнего под 22 апреля 1800 года читаем: «Нет, ни в какой французской трагедии не найду я того, что нахожу в „Разбойниках“». <sup>64</sup> Галинковский в «Корифее» писал: «Французы вообще для русских мало могут дать сильных, образцовых примеров подражания в трагедиях... Самые высокие, смелые черты лучших трагиков будут еще все слабы, все несильны противу великости нашего языка, его *терпимости* отважных, превознесенных идей, характеров, не столько обработанных, слишком *выполированных*, сколько резких, подлинных, заметных. Сами герои наши не должны никогда быть похожи на изнеженных, романтических рыцарей Расинов и Корнелей. Есть нечто прямо римское, которое так хорошо можно чувствовать и отличать в характере нашего народа и чего никак не могут вместить французы в свой язык, в их способ писания: они слишком обработаны, ненатуральны и везде учены».

Галинковский считает, что «если кто намерен достигать до чего-нибудь лучшего, нежели опыты Сумарокова, Княжнина», то он не будет подражать французскому театру. «Греки, англичане, немцы, датчане, шведы могут гораздо ближе подойти к нам, снабдить нас гораздо *правильнейшими* уроками», <sup>65</sup> — пишет он. В первом ряду немецких драматургов, рядом с Лессин-

<sup>63</sup> О. Петерсон насчитывает в первом пятилетии XIX века лишь восемь переводов из Шиллера и на основании этого делает вывод о слабой известности последнего русскому читателю тех лет [O. Peterson. Schiller in Russland (1785—1805). New-York, 1934]. С подобным выводом нельзя согласиться. Если не ограничиваться печатными источниками, а обратиться к рукописным, рассмотреть репертуар театра, также зачастую связанный с пьесами, не побывавшими в типографии, то бросается в глаза популярность Шиллера и широкая осведомленность русских читателей тех лет в его творчестве.

<sup>64</sup> Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 56.

<sup>65</sup> «Корифей», кн. II, стр. 169—170.

гом, назван «ужасный Шиллер, которого комедия „Разбойники“ делает честь его дарованиям».<sup>66</sup>

Однако для Галинковского, как и для Андрея Тургенева,<sup>67</sup> интерес к Шиллеру был лишь этапом на пути преодоления карамзинского субъективизма. Следующий шаг знаменовал дальнейшее движение к «объекту», к действительности. С этим связано охлаждение к Шиллеру и тот повышенный интерес к Шекспиру, который проявился у Андрея Тургенева с 1801 года и, возможно, не без его влияния сделался центральной темой «Мельпомены» — второй книги «Корифея», посвященной жанру трагедии. Здесь оценка Шекспира восторженная: «Бессмертный Шекспир равняется (ежели не превосходит их) со всеми трагиками в ученом свете. Творения его — все образцы; не по правилам театрального искусства, но по изяществу живописи, характеров и сердца человеческого».<sup>68</sup>

Высказывания Галинковского обнаруживают основательную осведомленность автора в творчестве Шекспира. В «Корифее» упоминаются и восторженно оцениваются почти все пьесы Шекспира: «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», «Ромео и Джульета» и др. Но наиболее высоко ставит Галинковский — и это характерно для его понимания Шекспира — те драмы, в которых сказочно-фантастический и народно-поэтический элементы особенно сильны: «Лучшие произведения его пера, по мнению знатоков, суть: драмы „Буря“ (<The> Tempest) и „Мечтания летней ночи“ (<A> Midsummer Night's Dream). Ничто сравниться не может с их воображением, с их романтизмом и чудесностью».<sup>69</sup>

Именно «Бурю» избрал Галинковский для перевода на русский язык. Перевод не был закончен, однако отрывки появились в «Корифее». Особенно любопытно приложенное здесь же предисловие переводчика, в котором Галинковский снова подчеркнул свой интерес к чудесному, фантастическому в драме: «Буря» — «это волшебное зеркало, вообразимый рай, забава великолепной игры фантазий». «Здесь-то дал он (Шекспир, — Ю. Л.) волю гордому воображению своему и довел его романтизм и чудесность до возможной силы совершенства», но он не упустил «из виду доброго смысла и мнений народных».<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Там же, стр. 45.

<sup>67</sup> Об истолковании творчества Шиллера Андреем Тургеневым и Андреем Кайсаровым см.: Ю. М. Лотман. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. «Ученые записки ТГУ», вып. 63, Тарту, 1958, стр. 71—74.

<sup>68</sup> «Корифей», кн. II, стр. 46.

<sup>69</sup> Там же.

<sup>70</sup> Там же, стр. 98 и 100.

Последнее высказывание особенно важно: фантастика воспринимается как отражение «мнений народных».

Характерно, что такими же путями развивался интерес к Шекспиру у Андрея Тургенева: ознакомившись с «Макбетом», сначала в переводе Шиллера, а затем в подлиннике, он приступил к переводу пьесы на русский язык. Фантастические эпизоды пьесы (особенно явление трех ведьм) вызвали любопытную полемику его с Жуковским. 30 января 1802 года Андрей Тургенев сообщал друзьям о первом знакомстве с драмой: «Ах, брат! Какая это трагедия. Сколько в ней ужасу... чародейки также имеют свое действие». Ср.: «Превосходят, кажется, возможность чего-либо лучшего: страшны, убийственны, кровавы», — писал о пьесах Шекспира Галинковский. Шекспировская фантастика вызвала осуждение Жуковского (против «чародеек» и специфически «шекспировских» приемов возражал и А. Кайсаров). Андрей Тургенев вынужден был защищать свое мнение: «А прогос о Макбете, ты немножко неосновательно предполагаешь истребить ведьм или чародеек. Шекспир писал, право, не так-то без оснований, как ты думаешь».<sup>71</sup>

Галинковский хотел бы этот принцип шекспировского театра привить русской драматургии. Осуждая «Димитрия Самозванца» Сумарокова за отсутствие характеров, бедность вымысла и призывая автора «оком Шекспира взглянуть на сию сцену», он писал: «Представим, если б Сумароков изобразил злодея, брошенного народом на распутии (сцена, достойная Софокла), которого скитающаяся тень являлась устрешенным очам москвитян, подымала бури и жалостные вопли к мимоходящим».<sup>72</sup>

Однако Андрей Тургенев, так же как и Галинковский, увидел в Шекспире и другое — объективность характеров, независимых от произвола автора, простоту, историческую верность образов. Работая над переводом «Макбета» он записал в дневнике 30 апреля 1802 года: «Познание человеческого сердца в драматическом писателе должно быть двойное. Не довольно заставлять говорить действующих лиц, так как они должны говорить; надобно еще уметь выбрать положения, слова, дела, так как они могут сильнее подействовать на сердце зрителя. Я хочу сказать, что одно познание относится к действующим лицам, другое — к зрителям».<sup>73</sup>

В сентябре того же года он записал в дневнике рядом с наброском предисловия к переводу «Макбета»: «Вчера пришла мне прекрасная мысль. Ненадобно, чтобы греки или римляне (го-

<sup>71</sup> Архив бр. Тургеневых, № 4759.

<sup>72</sup> «Корифей», кн. II, стр. 49 и 50.

<sup>73</sup> Архив бр. Тургеневых, № 272, л. 49 об.

воря в трагедиях и не в одних трагедиях) давали вес словам: гражданин, права гражданства, отечество, свобода и пр. Необходимо, чтоб это было для них нечто обыкновенное, чтоб они думали, что иначе и быть не может. От того и редко бы поминали о них; но весь ход их действий, всякая их мысль, каждый поступок показывал бы ясно, что они такое, и отливал бы, так сказать, их *manière d'être en tout sens*». <sup>74</sup>

Одновременно с изменением отношения к структуре образа, тяготением к психологической правде у Андрея Тургенева изменилось и отношение к речевым средствам. У него возникает представление о простоте как художественном достоинстве, созревает идея создания прозаической «высокой» драмы. 1 мая 1802 года он записал: «Можно перевести в стихах некоторые сцены из Шексп<ирова> Генрих<а> IV. Нет, они потеряют простоту свою». <sup>75</sup>

Развитие воззрений Галинковского на театр шло теми же путями. Отсутствие рукописей не позволяет с уверенностью говорить об определенной эволюции. Возможно, что интерес к «романической» фантастике уживался у Галинковского с требованиями, предвосхищавшими новый, гораздо более зрелый творческий этап.

Требую создания политической, «высокой» трагедии, Галинковский осуждал обязательную любовную интригу как сюжетную основу драмы. Он поместил в «Корифее» переводный отрывок, в котором читаем: «Что может быть незанимательнее и старее как эти пьесы, в которых одна любовь, единственная страсть, господствующая в них, наполняет душу героев». <sup>76</sup> Наряду с требованием политического содержания (отметим, что обзор французских «славнейших стихотворцев трагических» завершается словами: «Шенье, новейший трагик республики») выдвигается идея соблюдения определенного исторического ко-

<sup>74</sup> Там же, № 1239, л. 15 об. Андрей Тургенев перевел «Макбета» полностью и, видимо, начал переводить его второй раз. Текст перевода не сохранился.

<sup>75</sup> Там же, № 272, л. 50. Интерес Галинковского и Андрея Тургенева к Шекспиру не был явлением исключительным в русской литературе тех лет. После Галинковского «Бурю» переводил Шаховской, определяя совершенно в духе первого жанр пьесы как «волшебнo-романтическое зрелище» (ЛГТБ, Рукописный отдел, I, XXI, 2, 62). Несколько позже «Леара» перевел Гнедич. Свод данных об интересе к Шекспиру в русской литературе см.: А. С. Булгаков. Раннее знакомство с Шекспиром в России. «Театральное наследство», сб. I, Государственный академический театр драмы, 1934; A. Lirondelle, Shakespeare en Russie, 1784—1840 (Etude de littérature comparée). Paris, 1912 (здесь «Корифею» посвящены стр. 86—89; журнал рассматривается, однако, как анонимное издание).

<sup>76</sup> «Корифей», кн. II, стр. 57.

лорита. За нарушение его осуждаются трагики французского классицизма: «„Sire Tulle“ — оскорбляет древность. Это нестерпимый франсизм». <sup>77</sup> Особое внимание Галинковский обращал на постановку и костюмы. Имея в виду реформу Тальма, он писал: «Во Франции почитали и то за великий анахронизм, ошибку против времени, ежели одежды римские были шелковые, а не шерстяные, потому что они действительно в старину такие были. У римлян все узоры для шитья на платье цариц или героев были самые древние и сколоты с узоров на одеждах статуй... даже перстни, пряжки и застежки на обуви. Многогрудное изыскание! — но зато, когда откроется сцена, просвещенный зритель не видит контраста мыслей своих с временами истории самого действия... и зритель переносится воображением своим в самую ту сторону, в самые те веки, в которых представляемые лица жили». <sup>78</sup> С этих позиций Галинковский резко критикует русский театр: «У нас не только таких анахронизмов, как я сказал выше, множество... Диана наша часто наряжается как какая-нибудь дама на бал, в круглом платье, в перьях». <sup>79</sup>

Осуждая пространные монологи, изысканность, остроумие речей действующих лиц во французских пьесах, Галинковский выдвигает требование белого стиха (он переводит Шекспира безрифменным пятистопным ямбом). Стихи и трагедии надо, по его мнению, «читать так, как прозу», «и я думаю, — заключает он, — ежели не проза, то беспрекословно одни белые стихи принадлежат Мельпомене». <sup>80</sup>

Однако программа Галинковского включает положение, которое отнюдь не могло быть исчерпано простым воспроизведением приемов шекспировского театра. Сближаясь в этом пункте с Андреем Тургеневым, Галинковский выдвигает требование национальной самобытности. Подражание великим образам не означает слепого воспроизведения: «Переводить одни погрешности Эсхилова, Шекспиров или Шлегелей не будет еще значить подражать; надобно придерживаться их духа, приноравливаться к их приемам в живописи страстей, их познанию природы, но не меньше того надобно быть везде русским. Надобно особенно составить свой национальный вкус». <sup>81</sup> А поскольку наибольшую помощь в борьбе за национальную драму могут оказать те великие писатели, «которых самый гений народный, самые свойства ду-

<sup>77</sup> Там же, стр. 138—139.

<sup>78</sup> Там же, стр. 142.

<sup>79</sup> Там же, стр. 143.

<sup>80</sup> Там же, стр. 104 и 105.

<sup>81</sup> Там же, стр. 170.



шевных стихий больше сообразуются с нашими»,<sup>82</sup> то, как и в решении вопроса об эпопее, Галинковский вновь обращается к античному искусству. В греческом театре его привлекает прежде всего народность. Занимаясь историей русской сцены (в «Корифее» была опубликована особая статья — «Записка о начале нашего театра»), Галинковский в первую очередь уделит внимание тем формам русского театра, которые, как ему казалось, имели сходство с этой особенностью греческого. Он писал: «В 65 году мы имели грубый эскиз греческого театра. Это была Брумбергская площадь близ Мойки. На открытом поле, довольно просторном, под чистым небом простирался обширный амфитеатр из досок, который вмещал в себе многочисленный партер нашего мещанства и народа... Общество сих комедиантов составляли наборщики, подъячие, переплетчики, фабричные и другие мастеровые».<sup>83</sup>

Таким образом, осуждая «легкую поэзию», Галинковский требовал эпических жанров, высокого, патриотического содержания, драмы, ориентирующейся на шекспировскую традицию. Рассмотрение литературно-критических взглядов Галинковского убеждает в том, что, не являясь теоретиком первого разряда, допуская противоречия, непоследовательность в целом ряде вопросов, он тем не менее подошел к решению самых существенных литературных проблем его эпохи. При изучении истоков литературной борьбы 20-х годов XIX века необходимо учитывать и его деятельность.

Весной 1804 года Галинковский познакомился с Державиным, а некоторое время спустя породнился с ним, женившись на Марии Бастидон (Феофилатовой по первому мужу), племяннице первой жены поэта.<sup>84</sup> Однако в биографию Державина Галинковский вошел не столько этим, сколько участием в литературно-теоретических трудах поэта. В архиве Г. Р. Державина, хранящемся в ГПБ, находится папка рукописных материалов, озаглавленных Державиным: «Для лирического рассуждения нужные записки». Папка включает ряд рукописей Галинковского: обширный труд «О поэзии лирической» (лл. 187—207 об.), «Записки о лучших изданиях Пиндара и Горация» (лл. 224—224 об.), «Справка к оде» (лл. 225—228), «Записки по разным предметам словесности» (лл. 229—231). Державин широко использовал фактический материал, содер-

<sup>82</sup> Там же, стр. 170—171.

<sup>83</sup> Там же, стр. 187—188.

<sup>84</sup> Г. И. Студенкин ошибочно указывал, что Мария Бастидон была сестрой Екатерины Яковлевны Державиной (см.: «Русская старина», 1892, № 11, стр. 435).

жающийся в трудах Галинковского, порой воспроизводя и ход мысли, и отдельные формулировки последнего. Приведем несколько примеров:

Г. Р. Державин. Рассуждение о лирической поэзии или об оде. Сочинения, 2-е академическое издание, т. VII, СПб., 1878.

Лирическая поэзия показывает-ся от самых пелен мира. Она есть самая древняя у всех народов (стр. 531).

Они (оды и гимны, — Ю. Л.) были иногда подсказываемы конархистом (декламатором), как у нас стихиры, или провозглашаемы самим поэтом при звуке струнном (стр. 534).

Я. А. Галинковский. О Поэзии лирической. ГПБ, Рукописный отдел, Архив Г. Р. Державина, ф. 247, тетр. 5.

Поэзия лирическая выходит из пелен мира. Она есть самая древняя у всех народов (л. 187).

Тут же заметить, что ода и псалом у древних имели другое образование. Это был отблеск музыки: древние евреи и греки потом певали оды свои ирмосы в церкви. Мальчик конархиста или декламатора подсказывал стихи, и ему вторил хор, когда же сам стихотворец был провозгласителем, то сопровождал песнь свою струнами» (л. 187об.).

Говоря о древних поэтах-импровизаторах, Галинковский вспоминает Бояна и приводит несколько искаженную цитату из «Слова о полку Игореве»: «Едва веция персты свои на струны складаша и абие они сами славу князей рокотаху». Этот же текст, с теми же искажениями находим и в трактате Державина. Ко времени после 1805 года относится начало усиленного интереса Галинковского к истории. По сообщению автора некролога,<sup>85</sup> он собрал «прекрасную библиотеку». Подтверждением этому служит хранящееся в ГПБ письмо Галинковского к неустановленному лицу от 3 июня 1809 года,<sup>86</sup> из которого следует, что в его библиотеке содержался ряд рукописей и что он работал в библиотеках других лиц, делая выписки и беря для использования «манускрипты».

Вторжение Наполеона в Пруссию вызвало широкие и разнообразие отклики в русском обществе. Подъем антинаполеоновских настроений, видимо, захватил и Галинковского. В 1807 году он выпустил двухтомный перевод: «Тайная история нового французского двора и любопытные анекдоты, относящиеся до Сент-Клудского кабинета в Париже». Направленные против Наполеона книги пользовались спросом; в указателе Сопикова названы еще два перевода этого издания в том же 1807 году. Перевод Галинковского был после Тильзитского мира запрещен и поэтому стал библиографической редкостью.

<sup>85</sup> См.: «Кабинет Аспазии», 1815, кн. 5, стр. 107—110.

<sup>86</sup> ГПБ, Рукописный отдел, Собрание автографов, К-5, Галинковский.

Для настроений Галинковского в эти годы показательны то примечание, которым он снабдил отрывок своего старого романа «Глафира», посылая его для опубликования С. Глинке в «Русский вестник»: «Я старался по возможности избегать иностранных слов, введенных по большей части между людьми воспитанными, таких именно, без которых мы никогда не обходимся в наших разговорах. Сочиняя роман, я хотел думать по-русски; и если вкрадутся сюда неисправные речения, нерусские, то сие, верно, произойдет поневоле или по закоренелой привычке нашей к французскому языку. Это общее наше несчастье (как писателей, так и всех вообще), что мы вырастаем в руках у французов, учимся по их книгам, говорим одним языком, наполняем свои библиотеки одними французскими книгами и, наконец, чрез беспрестанное знакомство наше с французским языком так привыкаем к галлицизмам, так часто переводим их мысли, их обороты, что поневоле иногда делаем ошибки в русском».<sup>87</sup> Трудно сказать, эти ли убеждения или родственные связи с Державиным были причиной, но в 1811 году Галинковский оказался на должности «непрерывного секретаря» «Беседы».<sup>88</sup> Это, конечно, не дает нам оснований расценивать Галинковского как заурядного шишковиста. Мы видели, что по целому ряду теоретических положений Галинковский резко расходился с Шишковым, приближался к программе романтиков следующего десятилетия. Сквозь незрелость и противоречия его позиции видны контуры будущей литературной программы Шаховского, Катенина и Кюхельбекера.

Не будучи фигурой, отмеченной печатью крупного таланта или резкой самобытностью, Галинковский тем не менее представляет интерес как писатель и критик, отразивший литературные воззрения переходного времени — эпохи, когда вопросы, волновавшие литературу XVIII века, отходили в прошлое и нарождались еще явственно неразличимые новые проблемы.

<sup>87</sup> «Русский вестник», 1808, № 6, стр. 354.

<sup>88</sup> См.: В. Десницкий. На литературные темы, кн. 2. ГИХЛ, Л., 1936, стр. 199—200. С последними днями жизни Галинковского связан следующий эпизод: получив от своего старого знакомого Юзефовича из Парижа французские стихи в честь Александра I, он перевел и издал их отдельной брошюрой. Перевод был осмеян Гречем, что вызвало заступничество Державина (см.: Г. Р. Державин, Сочинения, т. VI, 2-е академич. изд., СПб., стр. 339—340). Сам Греч считал этот эпизод причиной скоропостижной смерти Галинковского (там же, стр. 339 и 340).